

A composite image featuring a close-up of a woman's face with blue eyes and dark hair in the upper left. The background shows a city street with a yellow building, a white car, and a tall spire in the distance under a cloudy sky. A yellow circle in the top right contains text.

Расследование
ведет экстрасенс
Алексей
Данилов!

**МНОГИЕ
ЗНАНИЯ –
МНОГИЕ ПЕЧАЛИ**

**АННА И СЕРГЕЙ
ЛИТВИНОВЫ**

Анна и Сергей Литвиновы
Многие знания – многие печали

«ЭКСМО»

2014

Литвиновы А.

Многие знания – многие печали / А. Литвиновы — «Эксмо»,
2014

Лидия... Художник Кирилл Баринов давно забыл о ней, ведь их короткий роман закончился, когда они были студентами. Но странные пугающие события заставили его вспомнить о временах своей юности: Баринов случайно узнал, что все его институтские друзья не так давно умерли... Опасаясь за свою жизнь, Кирилл обратился к экстрасенсу Алексею Данилову. Выслушав сбивчивый рассказ клиента, Данилов сразу догадался: потусторонние силы тут ни при чем. Есть человек, который не просто пожелал зла старым товарищам Баринова – он убил их, пусть и не своими руками. Рядом с каждым из них незадолго до гибели оказывалась женщина, и Алексей понял: он должен отыскать бывшую возлюбленную художника...

© Литвиновы А., 2014

© Эксмо, 2014

Содержание

Алексей Данилов	6
Кирилл Баринов	9
Алексей Данилов	18
Кирилл Баринов	20
Алексей Данилов	24
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Анна и Сергей Литвиновы

Многие знания – многие печали

© Литвинов С.В., Литвинова А.В., 2014

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

* * *

Алексей Данилов

Сименс меня предупредил, что этот клиент будет сложным. Или особо сложным. Только чтоб выслушать его, понадобится несколько сеансов. Если, конечно, я возьмусь за него.

И вот он передо мною. Зовут Кирилл Павлович Баринов. Как явствует из визитной карточки, художник. Больше никаких данных, кроме телефона, на визитке не указано. Никаких регалий, на которые горазды иные: «Член союза художников, союза дизайнеров, академик такой-то академии, лауреат сямой-то премии». Тоже гордыня своего рода: считать, что он настолько хорошо известен, что его станут узнавать только по имени. Но я, к примеру, слышал его фамилию первый раз. Надо будет почитать о господине Баринове в Интернете. Если я, разумеется, буду заниматься его делом.

На вид Кириллу Павловичу лет сорок с небольшим. Впрочем, реально наверняка больше. Просто следит за собой. О, это большая редкость в нашем обществе: мужик, следящий за собой. (Я имею в виду: настоящий мужик, не гомосексуалист.) Лишнего веса нет. Стройный, как юноша. Длинные, почти до плеч, тронутые сединой, стильно постриженные волосы. Бородка. Джинсовая куртка. Моя бабушка сказала бы в его адрес с осуждением: «Молодится». Однако бабушки нет на свете, а отношение к представителям сильного пола, которые следят за собой, в обществе потихоньку становится другим. Они по-прежнему белые вороны, но кое у кого вызывают уважение. У меня, к примеру, вызывают.

Внешне мой гость напоминает мушкетера. Но, разумеется, не из первой части трилогии Дюма. Скорее, одного из героев «Двадцати лет спустя». Или даже «Виконта де Бражелона». А вот кого конкретно? Не д'Артаньяна, понятно. Тот слишком для моего визитера сексуален, сангвиничен и прямолинеен. Портос – тоже другой, он чрезмерно толст и флегматичен. Значит, либо Арамис, либо Атос. А кто из них – посмотрим дальше.

– Что вас привело ко мне? – участливо спросил я.

Хороший доктор первым делом обычно спрашивает: «На что жалуетесь?» Я начинаю по-другому. Мой стиль отличен от врачебного. Я ведь не лекарь. Не колдун-шарлатан. И не гадалка. Не астролог. И не частный детектив. Однако я людям помогаю. Иначе бы они не стояли ко мне в очереди по несколько месяцев. И не интриговали в поиске знакомых и связей, чтобы обойти хвост. «Что вас привело ко мне?» – подходящий вопрос для столь востребованного специалиста, как я.

– Мне страшно, – отвечивал на первый вопрос визитер.

«Вероятно, – подумал я, – он пришел не по адресу, надо направить его к знакомому психотерапевту. Ну, и слава богу».

Я люблю свою работу, но, как и все, не люблю начинать новое дело. Мое подсознание вечно всячески от него отлынивает, цепляется за увертки и отмазки.

– Люди обычно боятся чего-то. Или кого-то, – произнес я. Свои тугрики за визит я все равно отработать должен. Да так, чтобы клиент почувствовал пользу.

– Я не очень понимаю, чего конкретно боюсь. С одной стороны, вроде бы ясно чего: смерти. Вы скажете, не мудрено, годы-то какие: пятьдесят с хвостиком. В Средние века, да и во времена Мунка с Ван Гогом это считалось глубокой старостью. Пора убираться.

– Выглядите вы прекрасно, – развел я руками. Легкая лесть входит в комплекс моих услуг. Клиент должен выйти от меня с лучшим настроением, нежели то, с каким пришел. Иначе он не расскажет своим друзьям и знакомым обо мне ничего хорошего. Несмотря на разгул рекламы и пиара, у нас в обществе до сих пор правит бал общественное мнение. Иначе говоря, все решает репутация. А она создается слухами.

– Да, пожить еще хотелось бы... Но тут, знаете ли, такая ситуация... С одной стороны, забавно рассказывать... А с другой – реально непонятно, что происходит.

– Не волнуйтесь. Уверен, что бы вы мне ни поведали – эти стены еще и не такое слышали. И, замечу, за их пределы ничего из сказанного здесь никогда не выходило.

– Понимаете, когда-то, много лет назад, я был в одной компании... Впрочем, компанией это назвать трудно. Мы тогда работали в одной бригаде стройотряда. Вы знаете, что такое стройотряд?

– В общих чертах.

Он все-таки пояснил:

– В советские времена это была распространенная форма организации студентов. Летом стройотряды обычно выезжали в Сибирь, на Урал, на БАМ. Иногда в Астрахань, собирать арбузы. Или в Нечерноземье – коровники строить. Кое-кто и в Москве, Подмосковье трудился. Стройотряды, вопреки распространенному сейчас мнению, не были обязательной. Хочешь – езжай. Нет – отправляйся в студенческий лагерь в Крым, купаться, лопать абрикосы, пить портвейн. Или – на деревню к бабушке. Однако платили в стройотряде круто. Поэтому туда многие стремились. Я в том отряде, о котором пойдет речь, заработал больше тысячи рублей. За два с небольшим месяца. Столько в Советском Союзе получали только академики. Ну, еще генералы. И генералы от искусства, – он хмыкнул. – Художники, писатели, скульпторы – из официально признанных, разумеется. Те, кто имел постоянные заказы.

Мне самому немногим за тридцать, и советские времена я практически не застал. Однако растили меня люди из тех времен. Точнее, все насквозь пропитанные теми временами. Поэтому своим предисловием посетитель мне Америки не открыл. Помнится, и отец покойный что-то про стройотрядную юность рассказывал.

– Я свою рабочую биографию начал после первого курса, – продолжал визитер. – То был совершенно особый год. Одна тысяча девятьсот восьмидесятый. Особенное лето.

– Олимпиада, – понимающе кивнул я.

– Да! Московская Олимпиада! Столицу тогда прихорашивали-принаряживали. А в рамках подготовки к играм – отправляли за тридевять земель, на практику и в стройотряды, всех иногородних студентов. Тогда нам даже экзамены перенесли: летнюю сессию сдавали в мае. И вступительные экзамены в столичные вузы передвинули – с июля на конец августа. Все для того, чтобы как можно меньше непроверенного молодого контингента шло по Белокаменной. А места в общагах заняли специально подготовленные люди из провинции: туристы из всех уголков СССР (как нам говорили). Но, главным образом, думаю я, в общаги селили провинциальных кагэбэшников, мильтонов, дружинников, оперотрядовцев. Огромные массы перемещались по стране, все пришло в движение, чтобы обеспечить Москве олимпийской тишь да гладь, да божью благодать. Надежные – в столицу, сомнительные – прочь из города. Я тоже из Первопрестольной в то лето смотался. Хоть и был коренным москвичом, а не каким-то понаехавшим... Извините! – вдруг спохватился он. – Слишком долгое предисловие. Это непроизвольно. Наверно, оттого, что мне не слишком приятно рассказывать суть дела.

Вы знаете, – он вдруг перескочил на другую тему, – компании, которые складывались в стройотрядах, обычно были не структурированы. Они быстро разваливались, о них скоро забывали. С теми, с кем *учился* – в одном классе, в одной группе, на одном курсе, – обычно не так. С ними и подружиться легче – когда ты учишься бок о бок пять или шесть лет, экзамены сдаешь, лабораторки спихиваешь. Потом, во взрослой жизни, студенческое содружество сохраняется. И встречи выпускников бывают через десять лет, двадцать, двадцать пять. Я хоть подобные посиделки не слишком люблю, но все равно, когда начинается подготовка сбора, на тебя обязательно выходят какие-нибудь девушки – вы замечали, что организуют встречи выпускников обычно девушки? Это оттого, что у них чаще, чем у нас, личная жизнь не складывается. А также энергии в запасе больше – для того, чтобы совершить новую попытку эту жизнь наладить... И даже если не придешь сам на вечер встречи, все равно по ходу дела можно расспросить о тех, кто тебя интересуется: а где такой-то? А такая-то?

Он говорил и на глазах успокаивался – это было заметно. Скорее, из мушкетерской четверки – он нервный меланхолик Арамис. Да и профессия этому характеру соответствует.

– Со стройотрядными друзьями все иначе. Там обычно ребята-девчонки с разных курсов сходятся. Поработаешь с ними одно лето, и до свиданья. Потом только в коридорах руки пожимаешь. Или они совсем пропадают. И не видишь их, и не знаешь о них ничего... Так вот, приступаю, наконец, к главному. Недавно я узнал о бригаде, с которой работал в то олимпийское лето на стройке в Сибири. И знаете что? – Он сделал паузу, тяжело вздохнул и безнадежно махнул рукой. – Их, кроме меня, было шестеро. И все они – умерли. Причем все по-разному. За последние два-три года. Я остался последний, седьмой. Поэтому у меня сразу два вопроса возникло. Не знаю: к вам, не к вам? Может, к самому себе. Или, скорее, к судьбе. Вопрос первый: почему – они? Чем эти шестеро связаны, кроме того лета? И второй: почему ребята скончались вдруг сейчас?

– А вы за эти годы встречались с ними?

– В том-то и дело, что нет! За эти тридцать с небольшим лет – ни разу, кроме как с одним. Впрочем, с ним, последним, тоже нехорошо вышло...

Кирилл Баринов

Месяцем ранее

Я был рад видеть Антошу, он нашел меня и позвонил спустя тридцать лет, как мы виделись последний раз. Мы договорились встретиться в кафе, и я ждал его, честно признаюсь, с определенным внутренним содроганием. Я помнил молодого, веселого, сильного, куражливого человека, явно не дурака выпить. Кем-то он предстанет передо мной сейчас? Как прошла по нему затейница-жизнь, какими своими колесами и гусеницами?

– Привет, старичок! – Слава богу, Антон был узнаваем. Да, поредели и поседели волосы, мешочки появились под глазами, лицо прорезали морщины, природную плотность сменил очевидный животик – но это был он, Антоха Марцевич, и, столкнись я с ним без подготовки на улице – я бы его узнал.

– Ты совсем не переменялся, – молвил он, облапив меня своим медвежьим объятием.

– Хватит врать! – воскликнул я. По совести, я употребил другой, мало приличный синоним слова «обманывать» – вообще-то я не люблю бытового мата, но тут, при встрече с другом из стройотрядной юности, он вырвался у меня сам собой.

– Ладно, ты не девочка, чтоб говорить тебе комплименты, – сказал Марцевич, усаживаясь за столик. – Да, старичок, ты сильно похужал, хе-хе, но возмудел, – повторил он шутку из нашей юности, – точнее, похудел, но возмужал. Как тебе удается держать форму?

– Будем обсуждать мою диету? Или закажем что-нибудь? Что выпьем за встречу? Коньячка? Или ты по нынешним капиталистическим временам предпочитаешь виски? Кальвадос? Джин?

– Ничего, – погрузился Антоша.

– Как скажешь, я тоже не большой любитель. Может, чисто символически, за встречу, по пятьдесят граммов?

– Нет, старичок, ты не понял. Я ничего не буду. Я в строгой завязке.

– Ладно. Дело хозяйское.

– Зато много ем, – через силу улыбнулся Марцевич, – а как покушаю – добрею и веселею. Если разобраться, в свиной отбивной с картошечкой содержатся те же самые эндорфины, что в вине.

– И давно ты постишься? – спросил я сочувственно.

– В этот раз уже год и семь месяцев, – сказал он с оттенком гордости. «Значит, были и другие разы», – жалея друга, подумал я.

Потом начался довольно сумбурный разговор – как ты, как я? Он сказал, что следит за моими успехами и даже один раз приходил на мою выставку. А его жизнь в кратком пересказе напоминала синусоиду, восходящие участки которой приходились на времена, когда он бывал в «жесткой завязке», а нисходящие, когда срывался. Я позавидовал его упорству в борьбе с самим собой: подумать только, в третий или в четвертый раз в жизни снова вскарабкиваться на вершину! О том, что участок был восходящий, свидетельствовало то, что Антон был полон самых радужных планов, кипел энергией: «В меня сам Раенко поверил, снова взял к себе! Офис на Ордынке, кабинет отдельный! Кстати, послушай, а давай твою выставку у нас в офисе устроим? Денег не обещаю, но слава! К нам, знаешь, и члены правительства приходят, и из Думы депутаты бывают, и из Совета Федерации! Не говоря уже о бизнюках! Закажут тебе свои портреты!» – «Да я портретов не пишу». – «А что пишешь?» – «Натюрморты, пейзажи, иллюстрации книжные». – «Ничего, напишешь пейзаж на заказ». Он был напорист, и я дал неопределенное согласие.

Я спросил его – но не потому, что очень хотелось знать, а скорее для поддержания разговора – количество общих тем катастрофически таяло:

– Как там наши?

И вот тут он погрузился, посуровел и проговорил:

– Вот за этим я с тобой и хотел встретиться. Если под «нашими» ты имеешь в виду ребят, с которыми мы в стройотряде «Зурбаган-восемьдесят» работали, то они – все умерли.

Я вздрогнул:

– Как – все?

– Не весь отряд, конечно. Всего нас, если помнишь, там человек сто двадцать было. А вот из бригады, где мы с тобой, старичок, работали, – скончались все. Кроме меня и тебя. – И он поскуцневшим голосом начал перечислять: – Пойдем по порядку. Бригадир, Петр Горланин, по кличке Пит. Самое смешное, что он Питом в конце концов стал. Ну, или Питером. Еще в восемьдесят девятом Горланин эмигрировал в США. Долго там пробивался, начинал с посудомойщика, но пробился, и давно, лет пятнадцать как. В последнее время преподавал в нью-йоркском Королевском университете, постепенно дослужился до профессора. Полный фарш, как теперь говорят: вторая жена красавица, две дочки, свой дом в штате Коннектикут. Он оттуда на работу в Нью-Йорк ездил – сорок минут. Чаще на электричке, но порой и на авто. Да не каждый день, счастливчик! Но вот однажды возвращался он почему-то поздно вечером и сильно выпивши. И зачем-то сам сел за руль. И прямо в Нью-Йорке, чуть не на самом Манхэттене, попал в ДТП. Машина всмятку, Пит погиб на месте. Даже до госпиталя не довезли. Полгода назад дело было. Пятьдесят шесть лет мужику, двое детей-школьников от второго брака.

– Да, невезуха, – прокомментировал я. А что еще скажешь? Я Петра Горланина никогда не любил – с тех самых времен, как мы в одной бригаде ломami орудовали. Были на то причины.

– Поехали дальше? – Антоха помрачнел еще больше. – Александр Кутайсов, помнишь его?

Конечно, я помнил Кутайсова. В нашем стройотряде восьмидесятого года он был звездой: Сашка пел. Он любил и умел это делать – и в качестве лидера стройотрядной рок-группы, и соло. Репертуар у него был самым модным по тем временам. Группа «Смоки», Градский, «Дип Перпл», «Юрайя Хип», «Роллинги». «Отель Калифорнию» на танцах обязательно пропевал два раза, один ближе к началу, второй – на бис: «Welcome to the Hotel California! Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face!» Помню, под кутайсовское исполнение «Отеля» я как раз пригласил Лидию и спросил то, что спросил. Н-да, ладно, проехали. Разговор сейчас у нас не про Лиду, а про Саню. Что с ним-то стало?

– Саня работал на Чернокопской АЭС. Жил в местном городке, Весенний называется. Если помнишь, атомные города с советских времен называются иначе, чем сама атомная станция – чтоб запутать вероятного противника. Санька женат был, двое детей, дочери, уже взрослые. Мы с ним время от времени переписывались. Сначала, после того, как вуз закончили, открытками к праздникам обменивались – к Седьмому ноября, Первому мая, Новому году. Потом, когда электронная почта появилась, соцсети, совсем просто общаться стало. Санька рыбалку любил, охоту, часто ездил в лес... Карьеры, как я понимаю, не сделал. Так и сидел сменным инженером. А сгорел от рака. Меньше, чем за полгода. Довольно редкий вид – рак брыжейки. Очень поздно диагностировали, когда поделаться ничего было нельзя. Четвертая стадия. Скончался, как потом оказалось, через пару месяцев после Пита.

Сашку Кутайсова мне вдруг стало невыносимо жалко. Я хорошо помнил его. У меня даже фото сохранилось: мы рядом в стройотрядной столовке, у него в руках гитара, он поет. Оба – до ошеломления молодые. А рядом с нами сидит Пит, как всегда, снисходительно, чуть скептически улыбается. И еще один парень около – а кто таков, я и не помню. Кажется, после

отряда мы с Кутайсовым так ни разу и не видались. Вот и осталось в памяти: да, Шура Кутайсов, тот самый, что когда-то делал «Смоки» один в один.

Мне захотелось выпить – помянуть Саню, да и просто *захотелось*, но я не знал, можно ли это делать при Антохе, и потому решил пока не начинать.

– Юрку Пильгую, помнишь? – Марцевич продолжал свой скорбный перечень. Юрку я тоже помнил. Он играл в группе вместе с Кутайсовым. На бас-гитаре.

У нас ведь тогда, в восьмидесятом, была блатная бригада. В нее (за одним исключением, но об этом позже) входили те, кто помогал комиссару отряда вести культурно-массовую работу. За это днем, когда мы трудились на основной, физической работе, нас не столь сильно нагружали, как прочих *бойцов*. (Да-да, все мы тогда назывались *бойцы*, милитаристская лексика вообще была чрезвычайно распространена при социализме.) Я свои дневные льготы – чуть полегче работа, чуть вольготней дисциплина – отрабатывал по вечерам и ночам как художник: рисовал для отряда стенгазеты, плакаты и боевые листки.

– Юрка у нас в институте был по целевому набору, с Бараблинской атомной. Потом он туда, в Тверскую область, город Пискуново, и вернулся. Сделал хорошую карьеру, дорос до главного инженера станции. И тоже очень быстро сторел в последнее время. Лейкемия – рак крови. Пятьдесят пять лет ему было, ровно как мне. Ты-то еще молодой.

– Угу, мне пятьдесят два, – покивал я.

– Да, возраст у нас у всех наступил рисковый, но не настолько же, чтоб в одночасье помирать. А умер Юрка через два месяца после Сани.

– Слушай, – перебил я его, – как ты посмотришь, если я закажу себе сто граммов? Помянуть, да и вообще. Тебя это не сильно покоробит?

– Как говорят земляки нашего Пита, – улыбнулся он широко, но, как мне показалось, через силу, – *do as you please*¹. – И я поманил официантку. – Ладно, давай я об остальных расскажу – коротким конспектом. Мне и без того тошненько. Тебе, как я вижу, тоже. А помнишь ли ты, к примеру, Семена Харченко?

Этого я помнил смутно. Да, осталось в памяти: был в нашей бригаде какой-то один, блеклый и ленивый, а вот как его звали... В любом мужском коллективе обязательно бывает свой козел отпущения. Человечек, стоящий на самой нижней ступеньке в социальной иерархии. Обычно на это место «назначают» самого молодого, неопытного, неумелого, новичка. Самым молодым в бригаде был я – да и все мы были тогда новичками в том, что касалось тяжелой физической работы: с лопатой, ломом, мастерком, отбойным молотком. Но я был хоть и юн, зато усерден и ухватист. Другие парни тоже – кроме него. А этот остался в памяти как недотепа, растяпа и к тому же лентяй. Значит, Семен Харченко – вот как его звали. Я недоумевал, как он в нашу блатную артистическую бригаду попал: вроде никаких за ним талантов не водилось, и никакими культурно-массовыми делами он не занимался. Конечно, методы воспитания у нас были более гуманные, чем в армии или на зоне – студенты все-таки. Никто Харченко не бил и даже не оскорблял. Но бывало, что стыдили или посмеивались. Бригадир Пит и скорый на расправу Марцевич могли и матерком запулить.

Антон продолжал свой рассказ:

– Харченко из всех из нас сделал, можешь себе представить, самую впечатляющую карьеру... – Тут мне принесли водки. Если поминать товарищей, пусть полузабытых, делать это следует старой доброй русской водкой. Я махнул одним присестом, закусил хлебушком. Может, я слишком мнителен, но мне показалось, что Антон проводил огненную жидкость, отправляющуюся в мой желудок, с долей зависти. – Семен, – продолжал Марцевич, – стал в нашем родном концерне «Госэнергоатом» начальником отдела. Большой человек. Собственный дом в четыреста квадратов на Новой Риге. Наверно, и поворовывал потихоньку. Откаты,

¹ Делай, что нравится (англ.).

то-се. Жена, сыночек, дочка взрослая... Погиб он глупо. Поехал на Мальдивы – что характерно, с товарищем по работе, сиречь с любовницей. Полез плавать, да на жаре после пары стаканчиков. Не знаю, что конкретно послужило фатальной причиной: сильное течение (а оно в том месте и впрямь, говорят, было сильное) или сердечко прихватило – короче, не vyplыл Сема. Бедная любовница (все-таки есть женщины в русских селеньях!) не бросила тело, возилась неделю, формальности улаживала, а потом везла с Индийского океана цинковый гроб. Ей, как рассказывают, родная жена покойного за все хорошее на похоронах попыталась когтями лицо порвать. Жуткое, говорят, было зрелище. Харченко умер позапрошлой зимой – аккурат седьмого января, на Рождество. Поэтому мой тебе совет, Кирюха: не меняй резко климат, не меняй женщину – особенно на молодуху, побереги себя!

Слегка глумливый тон Антона объяснялся и извинялся тем, что никто из нас тогда, в восьмидесятом, покойника не любил – да и сейчас не слишком много уважительного Марцевич о нем поведал.

– И, наконец, наш последний герой. Селиверстов Виталий. Про него ты, наверно, слышал?

– Нет. – Я и вправду не знал.

– Как? Он ведь артист. Действующий. В театре имени Тургенева играл. Снимался много, в основном в сериалах.

– Так он, значит, как и я, тоже изменил своей основной профессии?

– Да, двое вас таких, ренегатов, среди доблестных инженеров-физиков оказалось.

– Извини, я за его творчеством не следил.

– Не слишком много потерял – хотя плохого ничего про Витальку как актера сказать не могу. Играл он нормально. Добротно, как сейчас говорят.

Селиверстова Виталика я помнил хорошо. Он был у нас руководителем агитбригады. Это подразделение только так называлось: *агит-*. Наверное, старичкам из тогдашнего ЦК, что курировали комсомол, виделось при этом слове, как молодые артисты поднимают стихами, музыкой, песней своих однокорытников – бойцов! – на ратный труд. На самом деле большинство агитбригад Союза (наша так точно) ничего идейно-политического и пропагандистского не представляли – блистали в жанре комедии. Развлекали *бойцов* сценками из институтской жизни и скетчами на злобу дня из жизни стройотрядной.

Сам Марцевич тоже проходил по артистическому ведомству и был у Витальки вторым номером. Особого таланта за ним не водилось, но что-то в его медвежьей, разлапистой внешности производило комическое впечатление, да и подыгрывать более мастеровитому Виталику он умел. Он блистал в ролях тупых профессоров и полковников с военных кафедр.

Сочиняли и репетировали ребята по ночам, а днем – вспомнилось – Антоха Марцевич и Виталька Селиверстов все норовили забиться в тихий уголок и покемарить. Вдруг нахлынуло воспоминание: мы работаем на улицах Зурбагана, канавы роём, а наш Виталик сбежал, забился в подъезд жилого дома и уснул под лестницей, прямо на бетоне. Тогда мы, молодые идиоты, обложили его, по периметру тела, рейками, валявшимися там же, – Селиверстов не проснулся, даже не пошевелился. Получилось, будто лежит человек под лестницей в гробу. Жильцы, входившие в подъезд, очень пугались.

– У Витальки с сердцем стало плохо. Он временно один жил, снимал квартиру. Однажды не пришел в театр на репетицию, там подняли тревогу, супруга помчалась к нему – а он мертвый лежит на полу, рядом с телефоном. С сердцем стало плохо, даже «Скорую» вызвать не успел.

– Черт! – воскликнул я. – А я и не знал, что Виталик умер, вот стыдоба.

– Я тоже узнал случайно и на похоронах не был. А ведь он на моем курсе учился, не на твоём.

От этой концентрации смертей в горле у меня встал комок, и захотелось еще засандалить водочки – но я не рискнул, видел воочию, как Тоха мою выпивку переживает, хотя виду не подает. Но он будто мысли мои прочел:

– Да чего ты менжешься, на меня равняешься! Не гляди на старого, прими столичный помин их душ! Мне тоже будет приятно, будто сам помянул.

– Не буду. Может, когда приду домой – но не сейчас.

Мы с ним еще немного посидели. Антоха заказал десерт, с огромным удовольствием умял огромный кусок тирамису. Говорить нам, в сущности, кроме нашей стройотрядной юности, было не о чем. Разве что попытаться построить закономерность: почему друзья ушли именно сейчас, и все столь быстро, один за другим? Впрочем, беседа шла вяло. Никакой логики в смертях парней не нащупывалось.

– Может, виновата наша специальность? – неуверенно спросил я. – И то, что ребята на атомных станциях работали?

– Как это связано? Двое на АЭС трудились, еще один, Харченко, по ним ездил – и что? Поэтому Сема утонул? А почему Пит в аварию попал? Это какое отношение к делению ядра имеет?

И я с ним согласился, что никакого, а что оставалось делать? Мы еще поговорили – но как по обязанности, словно через силу – про мою выставку, которую Антоха загорелся устроить в своем офисе, а потом разошлись. Разумеется, обменялись всеми возможными телефонами. Марцевич клятвенно пообещал позвонить денька через три, когда разузнает, сколько и каких полотен можно будет у него в офисе повесить.

Через три денька он не позвонил. Не позвонил и через четыре. И спустя неделю тоже. И бог бы с ней, с той выставкой, не очень-то я в нее верил, да и нужна она была мне не слишком – но что-то меня, когда я вспоминал об Антохе, глодало. Очень уж он завистливо глянул на меня в тот момент, когда я попросил официантку принести мне водочки. И хоть совсем мне не хотелось, деньков через десять набрал я его мобильный номер. Телефон не отвечал. Длинные гудки. Я нажимал на кнопку повтора раз десять в разное время, утром и вечером – безуспешно. На следующий день, скрепя сердце, позвонил Антону на домашний. Мне ответил бесцветный, безжизненный женский голос.

– Антона? А кто его спрашивает?

Предчувствуя неладное, я представился: Баринов Кирилл, бывший коллега – когда-то учились вместе в институте.

– Ах, это с вами он встречался такого-то в ресторане, – констатируя, проговорила дама. И как обухом ударила: – Антоши больше нет.

У меня вырвалось: «Как?!»

– Вы знаете, наверное, о его слабости, – очень спокойно продолжила дама. – Вскоре после вашей встречи Антон, к сожалению, запил. Мы его пытались затормозить, но, как вы понимаете, в его случае это совершенно бесполезно. На третий день он вырвался, отправился среди ночи за добавкой. – Она сделала паузу, вероятно, подыскивала слова. Я так и не знал, кто моя собеседница: мама, жена или сожительница Антона. И по голосу не определишь, и спросить неудобно. В любом случае, ей досталось. – А потом его нашли. На лавочке в парке. Сердце остановилось. Говорят, он не мучился.

Я рассыпался в извинениях и соболезнованиях. А что мне, спрашивается, еще оставалось делать? И так, Антоха тоже погиб. Довольно долго в моих ушах звучал женский голос: «Антоши больше нет». Чтобы сей неприятный звук заглушить, пришлось принять самому. Сначала я допил оставшуюся от майских шашлыков бутылку виски, потом перешел на водку.

Короче, когда я наутро проснулся, одетый, поперек кровати, чувство вины не то чтобы сгладилось, но стало не таким острым. Зато появилась явственно выраженная тревога: значит, шестеро из нашей бригады погибли – и я остался последним, седьмым.

* * *

Для кого-то восьмидесятый – год московской Олимпиады, для иных – время смерти Высоцкого (или Леннона, или Дассена), но для меня он – год Лидии. Хотя если сложить все наши встречи – вряд ли даже целые сутки наберутся. Если рассматривать в масштабе всей жизни, получается и вовсе микроскопический отрезок. Но раз помнится до сих пор – значит, в мыслях тогда она занимала большое место. Несообразно большое.

Второй раз мы встретились с Лидой на похоронах Высоцкого. Тогда все удивительно сложилось: смерть, и любовь, и вдохновение, и печаль, и слезы. Назавтра я написал свою первую в жизни картину – ту самую, которая положила начало, как потом утверждали критики, новому направлению – соцреалистическому реализму, в главные представители которого записали меня.

Из стройотряда в Москву я прилетел раньше времени. Если честно, осточертела работа. Подъем в шесть и линейка в семь тридцать. А потом – восемь, а то и двенадцать часов с ломом, лопатой или отбойным молотком. У нас хоть и была блатная бригада, все равно на смену мы выходили, как положено, а если ты попадался на глаза начальнику штаба или командиру отряда филоновским – следовал разнос, невзирая ни на какие заслуги. Рисовать шаржи на начальство и карикатуры на рядовой состав, не говоря о писании лозунгов – тоже опостылело.

И еще хотелось посмотреть Олимпиаду – хотя бы одним глазком. Игры открывали, как сейчас помню, девятнадцатого июля, в субботу. Но я так ухахался за неделю, что даже не пошел в красный уголок смотреть церемонию по телевизору – после бани улегся в палатке и проспал все шоу.

Когда я звонил из Сибири родителям в Москву, они говорили, что смогут достать билеты: их продавали и даже *раздавали* по предприятиям и организациям, отдавая предпочтение партийным и активистам. На самое вкусенькое, вроде открытия-закрытия, финалов бокса или футбола, билеты до рядовых сотрудников не доходили. На дефицитные зрелища, испокон веку так повелось, попадали в Союзе сплошь начальники, а также их портные, завмаги, врачи и автомобильные мастера. Но мама и отец все равно заманивали меня в Москву, обещая мероприятия второго ряда: легкую атлетику, плавание, дзюдо. И олимпийская столица тоже манила: родители по телефону рассказывали удивительные вещи – в магазинах все есть, даже сырокопченая колбаса, и никого народу. А в киосках, сказывали, продавали импортные сигареты, включая «Кэмел» и «Мальборо». И, главное, я ведь был москвич, и меня, в отличие от соратников по отряду, уехать из столицы мира и социализма никто не заставлял. Меня погнали в Сибирь продажная девка романтика и длинный рубль – но я всегда мог вернуться.

Даже самолет из Зурбагана после двух месяцев в глуши произвел на меня ошеломляющее воздействие. Подумать только, в туалете висело зеркало, из кранов текла горячая и холодная вода, имелся ватерклозет. В отряде мы обходились еженедельной баней и дырками в полу. Носки я стирал в общих рукомойниках холодной водой.

В аэропорту Домодедово меня встречали родители – ввиду того, что я отсутствовал долго и вернулся издалека, сразу вдвоем: и отец, и мама. Мы погрузили мой рюкзак в багажник личных отцовских «Жигулей» и понеслись по пустынной трассе со скоростью сто километров в час. Столица налетела на меня быстро и сразу ошеломила своими многоэтажными зданиями и невиданной ранее пустотой и отмытостью. Всюду полоскались разноцветные флаги, отовсюду глядели символы игр: олимпийский медведь и стилизованная высотка (или башня Кремля?), увенчанная звездой.

Мы заехали на улицу Горького в Елисеевский гастроном. Я вышел из машины вместе с родителями – было интересно. В магазине народу оказалось непривычно мало, зато продавалась колбасная нарезка в вакуумной упаковке (я ничего подобного раньше в жизни не видел) и

маленькие брусочки масла на один бутерброд. Свободно стоявший в витрине армянский пятизвездный коньяк тоже был из разряда чуда: родители взяли бутылку – как я сейчас понимаю, хотели отметить не просто мое возвращение, но мою взрослость: восемнадцатилетний сын вернулся с ударной стройки пятилетки, поздоровевший, возмужавший, загорелый. На глазах материализовывался штамп советской пропаганды, которым всем нам долбили голову, начиная с детского садика: высшая человеческая доблесть – это подвиг (и смерть) во имя Родины; или, на худой конец, тяжкий труд во славу ее, лучше где-нибудь в Сибири, в самых нечеловеческих условиях.

Когда сели в машину и тронулись, и ветер снова засвистел в распахнутых окнах, отец сказал: «Говорят, в ЦК обсуждают идею – закрыть Москву навсегда. Просто не открывать ее после Олимпиады. Все москвичи «за», много писем в партийные органы приходит». – «Было бы неплохо, да все равно ведь не сделают, – ответила мама. – Испугаются: что скажут борцы за права человека и всякие радиоголоса». А я ничего не говорил, лишь тараторил в изумлении по сторонам, разглядывая столь красивую Москву – наверное, более красивой она никогда не была (и уже, вероятно, никогда больше не будет). Город достиг высшей точки своего имперского, социалистического развития и дальше становился только хуже – хотя никто из нас троих об этом не подозревал. А тут еще папа в машине рассказал анекдот (возможно, ставший пророческим): «Знаете, какая теперь периодизация истории СССР?» Периодизацией нас всех мучили на истории партии, лекциях по марксизму-ленинизму и школах комсорга (парторга, профорга). Вот и сейчас отец провозгласил: «Доолимпийский период, олимпийский и восстановление разрушенного хозяйства». Мама охотно рассмеялась, а потом укоризненно сказала: «Что ты разговорился, Павел Викторович, – при ребенке». Я возмутился: «Ребенок-то уже восемнадцатилетний. У нас в вузе и не такие анекдоты рассказывают». – «Кошмар! – воскликнула мама и добавила (тоже, как мне кажется теперь) пророчески: – Куда мы катимся!»

Бедные мои родители! Всю жизнь – точнее, всю советскую жизнь – боялись они, как бы ребенок (то есть я) не услышал чего, для его ушей не предназначенного. И ладно бы речь шла о животворных тайнах секса! Нет, табу считались: их работа, потому что оба трудились на оборонку; любые тайны кремлевского двора, ставшие им известными из слухов или закрытых лекций; все, связанное с диссидентами; нехватка продуктов и промтоваров; сталинские репрессии... О чем могли свободно разговаривать советские родители с детьми – если, конечно, желали добра своим отпрыскам? Только о погоде, природе да школьных успехах. Впрочем, я самостоятельно лет с тринадцати крутил мощный дедушкин приемник – в поисках «АББы», «Лед Зеппелин», битлов и рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда». По странной прихоти начальства передавали их только по волнам «Голоса Америки» и Би-би-си, где попутно просвещали меня о Солженицыне, альманахе «Метрополь», Марченко, Павле Литвинове и Ларисе Богораз.

С Садового кольца мы съехали на улицу Радищевская (ту самую, которая тянется от Таганки к высотке на Котельнической). У театра меня поразило большое скопление народа. Люди толпились группками у входа, иные шли от метро к театру. А на самом здании театра (похожем на провинциальную киношку), на витринах с афишами были наклеены десятки рукописных и машинописных листочков. Кто-то, окруженный друзьями, читал стихи. «Что такое? – в недоумении воскликнул я. – Что случилось?» – «А ты не знаешь? – удивленно переспросила мама. – Высоцкий умер». Еще не понимая огромности и трагичности происшедшего, я воскликнул: «Как?! Правда?!» – «Да, – покивал головой папа за рулем, – в газете писали». В те времена то был козырный аргумент: если о чем-то написали в газете, точно правда. Я потом увидел этот некролог: его напечатали в одной только «Вечерней Москве», пять строчек на последней полосе – скоропостижно скончался артист театра и кино В. С. Высоцкий. Мы тогда привыкли, что в некрологах обычно с десяток строк отводилось перечню титулов и достижений покойного: лауреат, Герой труда, профессор, депутат... Тут все оказалось наоборот: об

утрате певца извещало множество организаций: министерство культуры, и госкино, и управление культуры Моссовета, однако ни единого звания у покойного не было: скончался просто *артист театра и кино*.

Я сидел на заднем сиденье «Жигулей» и пытался осмыслить произошедшее, но был не в состоянии. Машина уносила нас все дальше от центра Москвы, в наш спальный микрорайон. «В народе говорят: здорово Высоцкий советской власти подгадил, – усмехнулся отец. – Не только жизнью своей, но и смертью». Мама возмутилась: «Павел, что ты такое несешь!» – «А что? Он сыграл в ящик посреди Олимпиады, как специально». – «Не надо о покойном в таком тоне, да еще при ребенке!» – Так они могли переругиваться (и переругивались) всю дорогу домой, что заняла по воскресному времени не более пятнадцати минут.

Никто тогда не знал ни о каких наркотиках в рационе Высоцкого. Да, знали, пил – но кто сейчас не пьет. Напротив, для многих, даже и для восемнадцатилетнего меня, это было оправданием: да, пью, а кто не пьет, все вокруг! Вон, и Высоцкий пьет, и Даль, и остальные. Мы просто не всех поименно знаем, потому что прочие известны меньше; а рестораны полны – и Дом актера, и Дом художников, и ЦДЛ, и Домжур – все властители дум сидят под газом!

Отношение к покойному у меня было сложное. Сказать, что я его обожал – нельзя; сказать, что не любил – тоже. В свои восемнадцать я успел его раз пять увидеть в театре; смотрел все фильмы с его участием; это давало мне право рассуждать, что Высоцкий-де актер классный (маленький зал Таганки рокот его голоса прямо-таки завораживал), однако как поэта я его нигилистически отрицал: романсеро, блатняк, юморист. Мне нравились его веселые песни – а, впрочем, я другие не особенно и слушал, негде было их слушать, сначала требовалось добыть. А добыть означало волевое усилие со стороны читателя-слушателя. Чтобы попасть в театр на Таганке, я его предпринимал, чтобы отыскать тексты или записи Высоцкого – нет.

И ни на какие похороны, ни на какое прощание я идти не собирался.

А вот поди ж ты! Друзей моих в городе не оказалось: кто в стройотрядах, кто с родителями на море, кто у бабушки на даче. Девушки у меня в ту пору не было; сексуального опыта тоже, знакомиться с ними на улице или в автобусе я не умел. Следовательно, делать в Москве мне было ровно нечего. Родители наутро ушли на работу – понедельник. Первые олимпийские билеты были на вторник. Поэтому не помню, как и почему, но на следующий день я оказался в районе Таганки.

Движение по дублеру Садового кольца перегораживала цепь олимпийских дружинников, замаскированных под волонтеров, в форменных голубых рубашках. Стояли они почти плечом к плечу, на расстоянии полуметра друг от друга, я подошел к одному из них и, сделав морду кирпичом, спросил: «А что случилось?» Тот осмотрел меня с головы до ног колючим взором – нет, совсем он не волонтер, явный мильтон или даже чекист, хоть и молодой – потом выдавил: «Высоцкого хоронят». Следуя вдоль цепи синерубашечников, я добрался почти до театра. Из-за спин дружинников увидел: посреди улицы Радищевской, перекрытой сегодня для движения, стоит небольшая группка. В ней седовласый Любимов с черной повязкой на руке. Рядом еще пара артистов Таганки. Против них – милицейский генерал со звездами, они что-то обсуждают на повышенных тонах, слов не слышно, однако видно, что Любимов чувствует себя хозяином положения, высокопоставленный мильтон перед ним будто даже оправдывается.

Скажу, забегая вперед, что эту сценку я сделал сюжетом своей самой первой картины. Зритель видит группу высокопоставленных спорщиков с совершенно другого ракурса, невозможного – сверху: как если бы художник взмыл над площадью и завис метрах в пяти-шести над асфальтом, людей я запечатлел со всей возможной, почти фактографической точностью – Любимов, артисты, генерал. Однако рядом с наблюдателем в левом верхнем углу вдруг проявляется из небес, словно лик ангела, лицо девушки. Моделью для девушки мне послужила Лидия, впрочем, к тому моменту, когда я понял, что она должна появиться на холсте, мы уже

расстались, и я рисовал ее по памяти. Лицо Лидии на ватмане возникло еще и потому, что там, на похоронах, – или, точнее, *около* похорон – я снова встретил ее.

В Советском Союзе все привыкли к очередям разного рода – однако ничего подобного проводам Высоцкого я не видывал. Чтобы проникнуть в здание театра, где продолжалась гражданская панихида и был выставлен гроб, люди тянулись вдоль Верхней Радищевской – начало очереди уходило вдаль, к высотке. Очередь ограждали железные барьеры и не дружинники в синем, а простые милиционеры в белой парадной форме. Первое впечатление было, что служители порядка приоделись по случаю похорон поэта, – и только потом я понял: ах да, парадная форма из-за Олимпиады! Я быстро пошел вдоль очереди, надеясь найти ее исток. Но даже спустя тысячу человек – а может, две тысячи – конца не увидел и замедлил шаги. Многие из стоявших в хвосте держали на плечах переносные магнитофоны, оттуда неслись песни покойного; практически все как одна были трагическими. И вот только теперь – как никогда ранее! – эта скрытая в них трагедия показалась мне, наконец, совершенно уместной.

...По обрыву по-над пропастью, по самому по краю...
...Посмотрите – вот он без страховки идет...
...что-то кони мне попались привередливые...
...нет, и в церкви все не так, все не так, ребята...

И тут я почти лицом к лицу столкнулся с Лидией. Она в растерянности стояла на обочине Верхней Радищевской, ставшей на день пешеходной, покусывала губы, и в глазах ее блестели слезы.

– Лида! – воскликнул я. – Ты здесь?!

– Вот решила, что надо прийти сюда, а тут столько народу, – заговорила она, словно мы прервались на полуслове. – Как ты думаешь, где эта очередь начинается?

– Где бы ни начиналась, вряд ли мы успеем пройти. Я слышал, скоро панихида, потом похороны.

– Ты не будешь стоять?

– Нет. И тебе не советую. Пойдем лучше его помянем.

Смерть поэта нас объединила. Теперь я уже готов был признать, что он поэт. Почему-то эта толпа людей, собравшихся на похороны, сделала его поэтом. А мы с Лидой разговаривали, как сообщники. Я взял ее под руку и повлек – дальше от очереди, вниз к Котельникам. Мне показалось, что она покоряется мне с облегчением: больше ей не надо мучиться, что делать, достаточно подчиниться мужчине, он знает.

Алексей Данилов

Я выслушивал откровения Кирилла Павловича значительно дольше, чем обычного посетителя. До самого вечера. Мой помощник Сименс знал свое дело, когда не записал никого из клиентов после него.

Выговорившись и выдохшись, художник умолк. Потом взглянул на меня с надеждой. Но я не знал, что сказать. Информации не хватало.

– Я не знаю, что делать, – развел я руками.

– Хороший ответ. – Баринов усмехнулся: – Мне-то порекомендовали вас как специалиста.

– Разгадка может быть любой.

– А именно?

– Ситуация многовариантна. Шестеро погибших из семи. Может ли происшедшее в результате оказаться случайностью, несчастливym стечением обстоятельств? Да, может. Может быть чьей-то злой волей? Да, конечно.

– Как?! – воскликнул он. – Вы считаете, что кто-то мог *убить* всех этих шестерых человек?!

– Конечно! – я ни секунды не сомневался в том, что говорю.

– Но двое умерли от рака, двое от сердечной недостаточности, пятый утонул, шестой погиб в автокатастрофе!

– Ну и что? Самое лучшее убийство – не то, что не раскрывается, а то, которое даже *не выглядит убийством*.

– Бросьте! Шесть человек умерло – и никто не понял, что их убили?!

– Именно. Поэтому я исхожу из того, что нам противостоит исключительное зло. Чем бы оно ни являлось.

– Вы сказали – *нам* противостоит? Так вы беретесь за это дело?

– Конечно. Я за него взялся, когда согласился принять вас.

– Вы говорите – противостоит зло. Значит, оно, это зло, персонифицировано?

– Может быть. Я не знаю. Надо думать, разбираться, искать. Пока невозможно сказать, кто виноват: живой человек? Или сверхъестественные «они»? И если да, то кто? Дьявол, провидение, судьба, мировой гомеостазис? И что распоясало эти силы? И чем на деле являлись смерти ваших шестерых друзей? Следствием чьей-то ошибки, греха? И лежит ли причина в прошлом? А может, в настоящем? Я не знаю! Дорогой, зверски уважаемый Кирилл Павлович! Не знаю. Нужны дальнейшие исследования. И их должны проводить вы.

– Я?! – неприкрыто изумился художник.

– А кто же? Чье еще сознание (и подсознание) хранит – или может хранить – все тайны?

Кто может вспомнить все – и догадаться обо всем? Прежде всего – вы.

– Но как?

– Вспоминайте. Кто или что всплывает чаще всего, когда вы обращаетесь в памяти к тому лету? Какие события в вашей жизни – и жизни ваших друзей? Записывайте, что вспомнится. Или – вы ведь художник – зарисовывайте. Что вам снится? Вызывайте сны. Заказывайте их у своего подсознания.

– Это как? – слабо улыбнулся он.

– Настраивайтесь каждый вечер на свою загадку, на то, как будете ее отгадывать. Не пейте ничего перед сном. Ни алкоголя, ни снотворного. Играйте в ассоциации. Хотя бы сам с собой. К примеру, я говорю вам: лето восьмидесятого, Москва, Олимпиада – что вам, прежде всего, приходит в голову?

– Лидия.

– Лидия? Прекрасно! Значит, в следующий раз вы расскажете мне о Лидии.

Кирилл Баринов

Познакомились мы с Лидией в стройотряде «Зурбаган-80», где трудилась та самая наша бригада. Впрочем, я замечал ее и раньше, в институте – пробегая по коридорам с лекции на лекцию. Она училась на втором или на третьем курсе, а может, даже на четвертом, а я – на первом. Страшная пропасть в молодом возрасте. Она мне понравилась – впрочем, тогда, во времена юношеской гиперсексуальности, это вряд ли что значило. Мне одновременно нравились сорок (а может, тридцать или пятьдесят) встреченных в институте девчонок. Практически каждая. Или каждая вторая.

А потом я вдруг увидел ее в нашей стройотрядной столовой.

Девушек в дальние стройотряды брали неохотно, и там всегда существовал дефицит женского пола. Трудились девчонки в основном на кухне – кстати, кормили они всегда отлично. Из одного и того же набора продуктов *свои* повара ухитрялись приготовить в десять раз вкуснее, сытнее, больше, с изыском, нежели в советских столовках, где обретались *чужие* – омерзительно разбухшие тетки. Кстати, в ту юношескую пору я оплошно считал, что задача социализма как раз и состоит в том, чтобы все в стране стали *своими* – как в стройотряде, чтобы всем и каждому стало совестно перед другими, кто рядом, бездельничать, гнать брак и воровать. Романтические коммунистические сопли! Но беда не в том, что подобные бредни тогда посещали меня – в конце концов, мне восемнадцать лет было, из которых я все, от первого до последнего дня (и родители мои, и даже бабушка с дедом!), прожил при социализме и под воздействием его пропаганды. Плохо то, что тогдашние лидеры страны верили примерно в то же, что я, и рассуждали примерно так же, как я. Если они, конечно, в ту пору сохраняли еще способность рассуждать. В чем я теперь, честно говоря, сильно сомневаюсь.

Но я отвлекся, я на самом деле о другом – о Лидии и о том, как увидел ее – в самый первый день, когда мы прилетели из Москвы в Зурбаган. Я, не спавший ни минуты в ночном перелете и с чувствами, обостренными стрессом, заметил ее, в белом халате и косыночке, за стойкой раздачи в нашей столовой. Во мне что-то дрогнуло (наверное, на меня снизошла любовь). Когда подошел мой черед, я уставился на нее и бодро проговорил:

– Привет! Меня зовут Кирилл, и я люблю поесть.

Она засмеялась и в тон мне ответила:

– А я Лидия, и люблю кормить.

Мне мгновенно и навсегда понравилось в ней все: и лицо, и глаза, и фигура, и даже имя. Лидия – настолько было странным оно в те годы, когда вокруг паслась сплошная Лены, Тани, Наташи, Оли. Она оказалось первой Лидой, встреченной мною в жизни. И еще это имя ужасно не соответствовало (в моем представлении) ее внешности, потому что Лидия – имя скорее южное, греческое, румынское, итальянское. Она же была типичной русачкой: невысокой, крепкой, как боровичок, с короткой русой стрижкой, миленькая и светлоглазая. И еще голос: ясный и переливистый, он звенел, как колокольчик. Словом, сделал вывод восемнадцатилетний я, она уютная, домашняя женщина. Время потом покажет, что я жестоко ошибался насчет уюта и домашности – впрочем, как я могу сейчас судить, ведь после того лета я не видел ее никогда.

Комиссар отряда отправил меня после перелета отсыпаться до ужина, а потом дал задание: написать плакаты для столовой. В каждом стройотряде столовая украшалась плакатами, всегда бодрыми и юмористическими. Практически всюду они повторялись и оказывались в итоге одинаковыми, хотя их, конечно, не утверждал никто сверху. Просто трудно придумать что-то новое, когда комиссар ставит задачу написать нечто жизнеутверждающее, не скучное, не острое и политически приемлемое. В тот раз я выполнял на склеенном ватмане растяжку над раздачей: НАМ ПИЩА СТРОИТЬ И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ. А вдобавок написал пару лозунгов поменьше, из Ильфа и Петрова – в советские времена все, включая меня, обожали Ильфа и

Петрова, носились с ними, как с писаной торбой, и к месту и не к месту приплетали: ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕЖЕВЫВАЯ ПИЩУ, ТЫ ПОМОГАЕШЬ ОБЩЕСТВУ. А также: ЗА КАЖДЫЙ СКОРМЛЕННЫЙ ВАМ ВИТАМИН Я ПОТРЕБУЮ МНОЖЕСТВО МЕЛКИХ УСЛУГ. Впрочем, последний плакат не понравился впоследствии инспекции, что приехала из городского отряда, и его сняли.

Стройотряд, замечу, несмотря на сопровождавший его милитаристский лексикон (бойцы, командиры, комиссары, трудовой фронт и пр.), являлся местом, практически свободным от советской идеологии. Никому бы и в голову не пришло соорудить на его территории стенд «Решения XXV съезда партии – в жизнь» или прикрепить на стене в столовой призыв, обычный для любой учебной или рабочей столовки: «Хлеба к обеду в меру бери! Хлеб драгоценность, им не сори!» В стройотряде и без того никому в голову не приходило брать хлеба больше, чем надо, а потом бросать объедки в помойку. А если бы кому пришло, друзья или начальство наглядно объяснили бы небережливому, сколь он не прав.

Итак, после ужина, расстелив и склеив ватман на нескольких сдвинутых столах, я принялся размечать будущий лозунг. Лидия в то время оказалась старшей по кухне. Разумеется, я начал за ней ухаживать. Я не помню, что грузил тогда ей – однако стиль, в котором мальчики распускают хвосты перед девочками, не изменился за прошедшие пару тысяч лет – и вряд ли модифицируется в будущем. Только аксессуары меняются или окраска перьев. В наши времена перьями были анекдоты, а также своего рода словесные метки, которые, будучи рассыпанными по разговору, демонстрировали избраннице высокий статус претендента: да, я в стройотряд за длинным рублем поехал, но я москвич, и квартира у нас в Перове трехкомнатная, у папы «Жигули», права у меня имеются. И интеллектуальный уровень, конечно, предьявлялся: ах, Таганка, «бульдозерная выставка», а ты Маркеса читала, а вот есть еще классный перуанский автор Марио Льюса.

Что требовалось от девушки? Смеяться и кивать, да невзначай сообщить мне, что она тоже москвичка, а в отряд отправилась, как и я, подзаработать. Кроме того, я помогал ей тягать котлы, а она подсобила под конец повесить над раздачей мою растяжку про пищу, что жить помогает, и покормила меня курицей, оставшейся от обеда. Просто вытащила противень, на котором плавало в жиру штук восемь жареных кусков – из них я съел пять, макая хлебшек в жир. В три часа ночи – какая там, к дьяволу, в восемнадцать лет забота о фигуре и здоровом питании! Наестся бы!

На следующий день начиналась основная работа – нас с бригадой (той самой, теперь-то я их всех помню по именам: Пит Горланин – Антон Марцевич – Юра Пильгуй – Саша Кутайсов – Виталик Селиверстов и Семен Харченко) стали возить в автобусе на объект. Виделись мы с Лидой за завтраком-обедом-ужином, однако не ежедневно, девчонки дежурили сутки через сутки, а после отсыпались. Вечерами я рисовал плакаты, будь они неладны, и боевые листки. Потом пришла суббота, а это означало, что вечером будут танцы.

Лагерь наш был разбит на краю яблоневого сада – вероятно, полузаброшенного: во всяком случае, никого вроде колхозников я в нем ни разу не видел. Как раз заканчивался май, яблони цвели. Расстилался дивный запах, жужжали жирные сибирские пчелы. И среди идиллии сада разместились огромные брезентовые палатки военного образца. Внутри каждой находилось штук двадцать никелированных кроватей и столько же тумбочек. Одежда вешалась на гвозди, что торчали из столбов, поддерживающих брезентовый свод. Климат в Зурбагане оказался резко континентальный, по вечерам пар валил изо рта, и первые дни я спал в одежде, да еще надевал на себя ушанку. В нашей палатке каждый спасался от холода, как мог. Иные дрыхли, укрывшись не только одеялами, но и лишними матрасами.

В стройотряде действовал строгий сухой закон. Да и где спиртное купишь: до ближайшего жилья километров десять. Впрочем, если боец выпивал тихонько и не особенно безобразничал, хода пьяному делу обычно не давали. И перед субботними танцами, опосля поездки

в городскую баню, Антоша Марцевич (уже тогда его любовь к спиртному давала себя знать, чаще всего именно он оказывался инициатором выпивки), улыбаясь и потирая руки, молвил: «Как говорил Суворов, продай белье – но после бани выпей». Мы откликнулись ржанием:

- Кому белье-то продавать? Кто его здесь купит?
- Антоха, купи мои трусы!
- А ты пойди в женскую палатку продай!
- Продать-то белье не шутка – главное, у кого выпивку достать?
- В полковой обоз иди! К маркитантке!
- Ребята, у кого есть знакомая маркитантка? Тащи сюда маркитантку!

Словом, разговор ушел в сторону, куда всегда уходит в молодом мужском коллективе: подначки, ржание, выпивка и бабы. Кто бы поверил, что диалог ведут представители будущего передового отряда советских ученых и инженеров, призванных проникнуть в тайны атомного ядра! Чистая казарма! Солдатня, в лучшем случае подпоручики!

И тут Марцевич (замечу, опять именно он) вытащил из тумбочки и брякнул на стол два пузырька одеколona «Саша» (девьяносто копеек бутылочка).

– Фу, – скривился рафинированный Питер, – нет, господа гусары, без меня. – И демонстративно вышел из палатки. Не стал участвовать в сабантуе Сема Харченко и тоже улизнул из спальни. Я пить отказался, но уходить не стал, решил понаблюдать за процессом. У меня даже мелькнула мысль написать картину на сюжет: распитие одеколona в стройотрядной палатке – но кому в те времена был нужен такой рисунок?! За него по головке бы не погладили – и мысль ушла вплоть до сегодняшнего дня, когда я ее снова вспомнил. Однако время безнадежно упущено, теперь по причине полной архаичности содержания.

Способ, как потребляется одеколон внутрь, продемонстрировал снова Антоха. Разлил напиток по четырем стаканам, в своем растворил пару кусков сахара, заначенных от завтрака, выдохнул и бойко хватанул. Закусил черняшкой. Остальные бодро последовали его примеру – с переменным успехом. Селиверстова всего переколбасило, у Пильгуя напиток, кажется, пошел носом, и он выскочил из палатки. Кутайсов лишь солидно крякнул.

Так и пошли мы на танцы – подзаряженные, наодеколоненные: кто-то снаружи, а кто-то внутри. Танцульки устраивались в помещении, смежном со столовой, называлось оно «баром»: хоть неотапливаемым, зато не под открытым небом – все казалось теплее. Бармен за свежескопленной стойкой наливал бойцам (бесплатно) соки из трехлитровых банок: томатный, яблочный и березовый. Если упросить, мог сварить кофе на плитке. Парочка самых страхолюдин с кухни уже сидела в уголку в накинутах на плечи тулупах. Лиды не было. Музыка запустили через магнитофон «Комета» – то были первые и последние танцы, где не пахала группа Кутайсова и Пильгуя: аппаратуру везли из Москвы поездом четверо суток, и она покуда не добралась. Впрочем, Кутайсова все равно уговорили спеть – под обычную, не электрическую гитару. Состоялся, таким образом, акустический концерт – Впрочем, тогда подобным словосочетанием еще не оперировали.

И как раз к моменту, как Сашка начал перебирать струны, в бар, наконец, пришла Лидия с подружками. Я, разумеется, с самого начала ждал ее – однако спрашивать кого бы то ни было о ней, а тем более искать девушку счел ниже своего достоинства.

И вот, никто не успел перехватить – я первым пригласил Лиду. Она скинула с плеч пальтишко (я был в двух свитерах), и мы закружились. Это всегда была лотерея: далеко или близко девушка позволит тебе быть с ней во время танца. Каждый раз дело зависело от нее, и далеко не всегда близость в танце означала податливость (но последнее я, девственник, понял совсем не сразу). Лидия позволила себе многое. Моя рука прижимала ее талию. Ее небольшая грудь уперлась в мою. Я, казалось, ощущал ее всю, и щекой – гладенькую щеку рядом, чувствовал ее дыхание. Оно слегка отдавало хмельным и сладковатым, и я сообразил, что девчонки в своей палатке подготовились к танцам лучше нас: привезли из города (или из Москвы) бутылку-дру-

гую сладкого вина. Кровь ударила мне в голову. И тогда я брякнул. Повторяю – у меня еще никогда не было женщины и очень мало опыта, что, наверное, меня извиняет.

– Знаешь, Лидия, у японцев есть праздник, специальный выходной бывает. Они любят цветущей вишней. И я приглашаю тебя на праздник.

– Это как? – засмеялась она.

– Пойдем в яблоневый сад.

– О, нет, я сейчас не могу. – Разумеется, ключевым в ее ответе было слово «сейчас», но я тогда этого не понял. Мое вспыхнувшее желание смешало мне все карты. Я, дурак, стал уговаривать ее отправиться в сад немедленно и, разумеется, все испортил. Девушка отказала мне бесповоротно. Когда «Отель Калифорния» в исполнении Сашки закончился, мы ему поаплодировали, а потом я отошел от Лиды: досадливый, неудовлетворенный, смущенный. Решил выйти на открытый воздух, охладиться. Погулял, поглазел на огромные хрустальные звезды, в несметном количестве усыпавшие небосвод. А когда вернулся, моя девушка – та, которую я считал своей! – уже танцевала с Питером.

А потом – танцы длились недолго – мы с парнями курили у входа в бар, и вдруг я увидел пару, удаляющуюся в сторону яблоневого сада. То были Пит и Лидия. Они вышли из света прожекторов (территория нашего лагеря, как ГУЛАГ, освещалась прожекторами), и его рука по-хозяйски легла на ее плечо.

Алексей Данилов

Долгий рассказ Баринова высосал из меня все соки. Я ведь не мог просто слушать. Во всяком случае, на работе. Одновременно считывается и запоминается гора дополнительной информации. Главное: правду ли говорит собеседник, и в какой степени он откровенен. Ясно же, что полной искренности нельзя ждать ни от кого. В данном случае клиент излагал события близко к истине. Я чувствовал это. Я видел картинку, что сопровождала его рассказ. Холод, ночь, звезды, аромат яблоневого сада, прожектора. И обиженный мальчишка: девушку, которую он посчитал своей, увел другой.

На прощание я сказал художнику, чтобы он вызывал у себя сны. Чтобы делал рисунки или хотя бы эскизы из той своей прежней жизни. Чтобы просто рисовал. «Вы тоже считаете, что существо дела таится в прошлом?» – «Пока не имею ни малейшего представления».

Мы договорились с Кириллом Павловичем о новой встрече и распрощались. Я включил свой телефон, и оказалось, что там меня ждет эсэмэска от моей девушки Вари. Как всегда, без знаков препинания – при том, что в целом Варвара свет-Кононова была грамотной девочкой, просто по непонятной причине напрочь игнорировала любой синтаксис в эсэмэс:

Любимый мне потребовалось срочно уехать
важная командировка
бросилась на вокзал прямо с работы
когда вернусь не знаю
но уже скучаю и люблю-люблю!

Я послал ей шуточный ответ: «А что случилось? Высадились инопланетяне?» Учитывая род занятий Вари и место ее службы, я не совсем валял дурака. В ответ она позвонила из поезда. Куда-то ехала, а куда, не сказала. И, разумеется, не сообразила зачем. Будь она неладна, эта ее высшая форма секретности. «Прости, мое солнышко, – журчал ее голосок, – я постараюсь обернуться очень быстро; я приеду и приготовлю тебе что-нибудь вкусненькое. Чего бы ты хотел?» – «Тебя». – «Дурачок».

Интересно, что мы с Варей оба много работаем, и я сперва опасался, что это станет преградой для нашей совместной жизни – как случилось с моей первой девушкой, Наташей Нарышкиной². Но нет, оказалось, с Варварой все наоборот: когда мы подолгу находимся врозь, оба начинаем скучать, а не ревновать, потом встречаемся и не можем наговориться. Правда, надо заметить, что я рассказываю ей о своей работе практически все, кроме имен клиентов, а она посвящает меня в свои дела очень и очень дозированно – за вычетом того, что составляет предмет государственной или военной тайны. Но, главное, в своем общении мы с ней не недоуедем друг другу. Хотя иногда, бывает, схлестываемся не на шутку.

² Об отношениях Алексея Данилова и Наташи Нарышкиной повествует книга Анны и Сергея Литвиновых «Пока ангелы спят».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.